



Н. Я. АБРАМОВИЧ

Христос Достоевского

<Фрагменты>

ГЛАВА II

1

В котле житейском

Герои Достоевского исповедуют благодать и высшую красоту «*страдальческого сознания*» (выражение художника). Раскольников падает и целует ноги Сони Мармеладовой. Зосима торжественно преклоняет колени перед обреченным Дмитрием Карамазовым. Это они склоняются ниц не перед людьми, а перед Христом в них, ибо страданием людей выявляется чистая сущность Христа.

Молчаливая скорбь человеческих глаз; — «я есмь», тихо и внятно звучащее из каторги из пыток; «страдальческое сознание» — это рвущая душу, в экстаз ее приводящая красота, перед которой хочется пасть ниц. Раскольникову сладко со слезами боли и страдания целовать истоптанные и жалкие ботинки этой маленькой проститутки, питающей ужасом своим, позором — жизнь детей и мачехи.

И сладко поклонение муке, Кресту, той тихо без слов принятой на себя муке, которая смотрит на вас из глаз старой нищей или больного старика. Христос на земле воплотился в страдание, он был живым воплощенным Страданием. В своем аду зверства, злобы и животности люди выделяют из себя божественное начало, это страдальческое сознание. Им-то и воплотился Христос, спасая мир страданием.

Сильнее всего молчаливое темное страдание, воздвигающее какой-то страшный крест, с высоты которого смотрит обреченная душа. Мы не выносим этого молчания, как не вынес его Раскольников. Ведь он и сам страдалец, голодный, нищий, брошенный, взявший еще на себя муку убийства. Но его сознание не страдальческое, а гордое, злое и непримиримое. Он как орел с перебитыми крыльями до конца неукротим и дик. Но вот Соня Мармеладова — ее опустили в ад, в муку, но она не станет подымать бунта. Чья-то высшая мудрость научила ее единственному последнему отпору: взгляду страдальческого сознания. Она только смотрит на то, что есть, и молчит, встречается

взглядом души со взглядом Зверя — Яви и, утвержденная Христом на своем страдальческом сознании, молчит. В ней страдающий, кроткий и испуганный человек слился с самой сущностью страдания. Она мучительное воплощение его.

В ней, конечно, подымался ее тихий бунт, собственно не бунт, а невозможность вынести всё это. «Сколько раз в отчаянии обдумывала она как-бы разом покончить»... Но надо было давать на хлеб детям и мачехе. И хотя невозможно было больше жить и терпеть, она осталась жить и терпеть.

Но вот в то же время в ней есть и фанатик. И в ее кротких глазах светится «ненасытимое сострадание... с болью и исступлением». В ней зажигает душу мука людей, в ней есть какой-то взрывчатый материал, для которого искра — слово Евангелия.

Она подлинная христианка, и во времена апостольства, на заре христианства, она бы пламенно молилась в подземелье, с горящей свечой в руках и в белой одежде, и фанатически пошла бы на крест, на смоляной столб, на арену львов. Ее кроткие глаза, говорит Достоевский, «могут сверкать таким огнем, таким суровым энергическим гневом». А когда она читала вслух Евангелие — «ее голос стал звонок, как металл». И всю каморку ее наполнила вещая напряженность религиозного восторга, душевного верования.

Внешний вид ее мучителен... «Рука совсем прозрачная, пальцы как у мертвой»... бледное худое личико... И из своего позора из своей муки она вся направлена в прямоту, в обетованно Божие.

Эта лилия мистическая цветет в гнусном болоте, и душа ее знает все кошмары, все ужасы и ямы человеческого. Она знает жизнь, этот богатый уродствами и безобразиями ад. Перед ее чистыми глазами прошло всё животное и уродующее жизнь. Ей отделили кусочек ада. Она познала его глубоко в тот день, когда принесла Катерине Ивановне свои 30 рублей и потом легла в угол и закрыла свои вздрагивающие плечи старым драдедамовым платком, — поруганный и страдающий ребенок.

Эта жизнь с неслыханной наглостью уродства и зверства предстает глазам. Она расстилается душной зловонной клоакой большого города: кабаками, лавчонками, вертепами, пивными, грязными рынками, копошащейся грудой пьяных, озверелых, впавших в нечистое и подлое людей. Колоссальными буквами надо над ней написать грубое, но вещь-символическое слово: *Кабак*. Он символичен этот дом обреченных на страшное веселье, где пот, кровь, слезы, бешенство и сладострастие слиты вместе.

Оттуда высыпают озверелые от алкоголя люди и забивают до смерти лошадь («сон Раскольников»). Они секут ее по спине, ногам, глазам,

грохочут от смеха на ее конвульсии и в разгаре опьянения зверством проламывают ей голову.

Это сон большого города, это отражения в усталом мозгу образов и картин человеческой жизни. Что может сниться человеку, брошенному в эту тревожную клоаку, в это судорожное кишение червей!.. Его сны лихорадочны, они — бред ужаса, сумасшествия, злобы и муки, которые кипят в домах, улицах, рынках, кабаках, в притонах нищеты, разврата и всевозможной извращенности. Везде мучают и бьют! Засакают до смерти! Оскверняют и окунают душу в грязь! Те рев, стоны, крики, мольбы, переходящие в однообразный шепот и шорох, которые слышал в бреду Раскольников, они, действительно, поднимаются от лица земли к небу и вопиют о повальном сумасшествии, о горячке блуда и жестокости, муки и поругания, каких не знали Содом и Гоморра!

Эту эпопею человеческого кошмара развертывает в своем романе художник, ищущий Христа. Потому что он хотел не мимо всего, что есть, прийти к Христу, а *через* это. Все глубже и глубже опускался он в круги человеческого ада. И ничто из существующего не хочет упустить он, бросая на одну чашу весов муки кошмара, а на другую — свое постижение душой окончательной и всё побеждающей Истины.

Петербург ему казался «самым фантастическим из городов». Он ждал, что вот-вот эти призраки туманов финского болота разлетятся и развеются. Но ему, с его даром мистического созерцания, движение жизни масс везде должно было казаться подобным лихорадочной фантазии. В особенности летний петербургский день на Садовой улице, душной и грязной, царство пивных, рабочих, нищих, проституток, подобен тоскливому бреду. И эти картины: убийство лошади, преследования пьяной проститутки франтом, вся жизнь Свидригайлова — что все это, как не горячечный сон?..

Но все это жизнь, всё это куски нашего «Дьяволова водевиля». Царство Дьявола кошмарно и призрачно, и тому, кто утвержден на хотя бы смутном чувстве истины, должно казаться, что вот-вот все это марево дрогнет и разлетится. Тюрьмы, больницы, казармы, участки, вертепы, углы нищеты, животная роскошь тупых и пресыщенных, вся эта лава дикой, кощунственной, противоестественной жизни — кажется тяжким сном, которым тешится Дьявол. Но действительность кошмара — пребывает.

Страшный закон двуединства в человеческой жизни обнаруживает здесь разрастание и полновластие одного начала, темного. Разверзается болото и человек лезет туда и зарывается в него все глубже, с упоением от собственной низости, с острым чувством невероятного и дерзостного падения на самое дно. «Пятами вверх» летит он для вящего унижения, по выражению Дмитрия Карамазова. И в горячечном дьявольском

мире бешенства, блуда, грязи, низости чувствует себя как дома, совершенно соприсущим этой черной действительности. Подземный ад переносится на поверхность земли и на ней осуществляется полный шабаш, где пляшут свой исступленный безумный танец — Карамазов, Свидригайлов, Смердяков, насилуя и оскверняя детей, заливая грязью мир и сгущая над человеческим плотную пелену его покровы. Не предана ли вся земля в полную власть Дьявола? Он — в воздухе, в крови людей, в их мыслях и чувствах, влияние его проникло во все наши источники; вокруг белых стен монастыря бьются черные грязные волны человеческой жизни и зловонное дыхание пробирается в монастырские сады и там много есть слугителей Черного Господина.

В душах лучших людей идеал Мадонны уживается с идеалом Содомы по законам самой природы человеческой. И над Христом кощунствуют здесь так злобно и гнустно, как не кощунствовали распинавшие Его. Из каких болот, из какого зловония несутся клики к Нему! И откуда же поднимаются невинные детские руки, и в кровавых слезах напрягаются от боли и обиды детские души... И там же горят Христу мучительные огни страдальческих сознаний...

Отсюда ли искать Христа?.. Здесь ли поминать Его имя?.. Но Достоевский в каком-то ясновидении, как слепой, спешащий на родной голос, устремляется весь в кошмар, и в нем-то он искал постижений. Он чувствовал, что драгоценный художественный опыт здесь. Что здесь — в страшнейшем столкновении двух начал высекаются божественные искры. Он странно не доверял человеческому покою и ясности, при которых Дьявол сытого удовлетворения и тупого довольства всё сильнее овладевает человеческим сознанием. Покой — это или завершенность сознания, последняя высота, где уже все достигнуто и движение жизненное прекращено, или же безнадежнейшее дно, полное угасание души. И в том, и в другом случае жизненного опыта для художника — нет. Не потому ли отличает Достоевского острая жадность к кошмару? Что он нашел бы в сытости и в благополучии? Ни взрывов воли, ни тревог и исканий души...

Христос там, где есть эти тревоги, искания и взрывы. Станный вывод напрашивается из всех рисунков и картин человеческого у Достоевского. Вывод, что царство Христово держится на земле, по автору «Бр<атьев> Кар<амазовых>», — страданиями, кошмарами, ужасом, болью, жестокостью, убийствами, грязью и пытками. Ревностный служитель церкви в ее незыблемых установлениях — К. Леонтьев в своей брошюре «Наши христиане» подхватывает эту точку зрения и настаивает на ней. «Любовь, — говорит он, — есть до тех пор, пока есть жизнь и грех, пока есть столкновение вражды с любовью. Но когда, — добавляет он, — будет возвещено Евангелие везде, — любовь

оскудеет». Вот до какого изуверства доходил ревностный церковник, полагавший, что не обрести Христа должен человек на земле, а только стремиться к нему в той мере, какая положена абсолютными установлениями церкви.

Столкновения вражды и любви, очаги греха и жизни, с ее кипящим, мучительным буйством, — вот что рождает в человеке его высшее «Я». Всеми этими Сенными рынками, подвалами нищеты, вертепами, каморками тоскующих проституток — держится, согласно приведенной идее, Христово царство на земле. Ибо огонь мучений и боли будит божественную искру в человеке. В этом смысле можно сказать, что грешнику, мытарю, развратнику, кутиле Дмитрию Карамазову, пьяненькому Мармеладову, оскверненному Свидригайлову, проститутке Соне, убийце Раскольникову — Достоевский больше доверял, чем смиренномудрым, умеренным фарисеям. За искрой божественной он шел к распятым, униженным, утвержденным на «страдальческом сознании».

2

Взывание к Богу болью

— Пусть Господь-Бог увидит наше исступление, муку, которой мы оправданы в глазах Его и во имя которой взываем о справедливости!..

Испытываемые муки дают решимость непосредственного обращения к Богу, и чем сильнее муки, тем прямее и настойчивее воззвание к Нему. В конце концов отсюда рождаются дерзновения и бунт. Ибо голос муки есть как бы волшебное заклинание, на которое *должен* откликнуться Господь-Бог.

Устанавливается молчаливое соглашение между человеком и Богом, созданное внутренним самочувствием человека. — Пока я обращен к животности и тупо живу во чрево свое, прав, Ты, Господи, отвращаясь от меня. Но если сердце мое горит мукой и жаждой Тебя и если всей жизнью моей обращен я к Тебе и алчу Твоего чуда и Твоей силы, то невозможно, чтобы крик мой не был услышан! Ибо зову я Тебя ранами моими, кровью и огнем мук моих!..

Это не покорная и примиренная мольба, а исступленное взывание древнего иудея, одного из избранных и постигнутых тяжелой карой Иеговы. Это призывы библейского Иова; раны свои и боли представлял он Всемогущему, как аргументы: — О, если я жалок и презренен, то вот язвы мои, кровь моя, — пусть они взывают к Тебе и говорят за меня!..

Развертывая свои свитки человеческой жизни, бытописатель-художник так часто бросает свой карандаш, забывает рисунок и посылает к небу свою тоску и отчаянье... Устами неверующего Ивана Кар<амазова>, душевными содроганьями атеиста Раскольникова

он взывает к Богу о крови и муке людской. В том-то и дело, что ни сам Достоевский, ни его герои ни одной минуты не останавливаются на той мысли, что *не к Кому* взывать о боли и о возмущении души человеческой. Они обнаруживают свое тайное религиозное упорство именно этими призывами: приди и взгляни на то, что здесь делается. Они упорно взывают к кому-то... Потому что немислимо освоиться с тем, что есть, и принять. — «Понимаешь ли ты эту ахинею, друг и брат мой, послушник ты мой Божий и смиренный», — говорит Иван Алеше, рассказав ему о зверских надругательствах над детьми, — понимаешь ли ты, для чего эта ахинея так нужна и создана?»..

Каждое надругательство и каждая боль сами вопиют к Христу своей мучительной невозможностью. Неразумные дети понимают это вне рассудка и знаний, в них вложенных — чувством души природным. Когда забивают лошадь ударами кнутов и секут ее по глазам, маленький Раскольников бросился в исступлении к кляче: «Папочка, папочка, они ее убьют!»... и припал страстно к кровавой морде лошади губами и всем лицом. Если закон любви записан в сердце нашем и зверство потрясает самые инстинкты человеческой природы, то как же возможно то, что в мире есть зло и насилие?..

Противоестественность в жизни глядит каждую минуту в глаза, и в силу того, что в течение ее вмешалось какое-то безумное, иррациональное начало зла и уродства, человек видит свою беспомощность перед этим кровавым хаосом и борется с ним последней и тоже иррациональной силой: инстинктом вечной справедливости, тайно ощущаемой в мире. Вид кошмара и ужаса вызывает в нем недоумение перед невмешательством этой силы, и он взывает к ней.

Живые воплощенные воззвания к Богу — Соня Мармеладова, пьяный и окровавленный Мармеладов, плачущий в исступлении и пророчащий милость и обетование Христа, голодные дети Мармеладова и все униженные и корчащиеся от мук.

На крайних точках путей человеческих просыпается живое сознание Христа. В гибели, в агонии душа неуклонно взывает к Нему. В падении в яму Дмитрия Кар<амазов> есть то же остро вспыхивающее безумное влечение к свету: «...в яме лежу, но край ризы Его целую...» Конец превращается здесь в начало, семя умирающее возрождается в жизнь истинную. Выйдя из равновесия, напрягающаяся и страдающая душа волею заложенной в ней первоначально, в этом содрогании, трепете и умирании находит возрождающую обетованную силу. — В страдании познаете высшую сладость откровения и жизнь навсегда. Душа неуклонно от греха переходит в огонь страданий и рождает Христа. Страдающий — это зов к Христу и это откровение Христа. С особенной силой последнее положение развито в «Идиоте».

Из всех сил — самая побеждающая для кн. Мишкина — страдание. Оно его берет неотразимо, захватывает каким-то могущественным очарованием, всесильным над его душой. Страдающий человек владеет им, он не может оторваться от его глаз и словно пьет из них мучительное, сладкое и болезненное упоение человеческой болью. Он познал могущество Крестной красоты, той красоты, что слита из любви и страдания и во имя ее раз навсегда прилепился к страданию. Страдающий для него божественно красив, ибо у него в силу страдания обнажена душа. Она-то неотразимо приковывает к себе взгляд Мышкина, ибо он сам — обнаженная душа, блуждающий огонек религиозного сознания.

Когда он видит портрет Настасьи Филипповны, его сразу побеждают ее глаза, упрямо затаившие ее страдание и всё же гордо и сухо-мучительно им горящие. Он угадывает ее безумную и одинокую в своем горьком безумии душу. Никто из всех персонажей романа так не мечется и не горит сердцем, как она. И потому никто так не обязывает его к жалости и пристальному душевному вниманию. Он тянется на страдание, притягивается им, как магнитом. «Тусклый огонь муки» зажигает странным восторгом его душу, он познает в нем красоту, познает искру божественную от Христа, ибо душа, страдающая, имеет в себе что-то таинственное и не от здешнего. Стоит увидеть ему этот «тусклый огонь» глаз и в лице напряжение ослабевшей от борьбы и мук души, как он падает ниц перед символом Бога своего, выявляемого в страдании.

Его Бог — Бог муки и высшего восстановления духа в муке. Христово начало разлито в мире и ежесекундно выявляется в нем и в самые страшные минуты гибели или падения дает крылья сознанию. В каждой улыбке любви и в каждой тайне страдания жив в мире Христос, обитающий в лоне всечеловеческого сознания. Вот почему каждый страдающий есть страстный крик о Нем и живая весть Его.

Когда Иван Карамазов взывает к Нему, то не знает, что та сила, которую он зовет, *уже действительна в нем* тем самым, что сердце его сжато тоской и что он взывает состраданием и болью к Христу. Состраданием, любовью, мукой страдания — мир полон Христом, незримой действительной силой, живущей в мире и самой жизнью проявляющейся в нем.

3

«Я есмь»

Во внутренних покоях человека есть маленький алтарь. Когда-нибудь, хотя бы один раз перед смертью, но сияние чистой правды — тронет сознание и человек познает в себе высоту идеала и будет пристыжен и ослеплен им.

Молния может пронзить его, как некрасовского Власа, и он пойдет *служить* Богу строгой правды, невозмутимой святости.

Из прежнего торгашества он прямо может вознестись к высшему служению, стать железным в истине своей, как Влас. Незримый огонь пожрет все мелкое прежнего мира, и душа предстанет только Богу, как в строках Некрасова, с их высоко-художественной сжатостью:

Роздал Влас свое имение,
Сам остался гол и бос...
.....
Полон скорбью неутешною,
Смуглолиц, высок и прям,
Ходит он стопой неспешною
По селеньям, городам...

Вот этой свободы в отдаче себя Богу нет у яростно рефлектирующих боготорцев Достоевского, вокруг своего алтаря они во мраке шарят и ищут, но сами же застилают свет внутреннего откровения. Краеугольного камня для своего здания они ищут в своем человеческом «Я», и строят на нем, и камень рассыпается в прах, и здание рушится. Так было с Раскольниковым, Ставрогиним, Кирилловым и Ив. Карамазовым. Напрасно слепому и грубому кипенью жизни в кошмарном котле ее противопоставлял Раскольников свою талантливую, свою устроительную и разрешающую многие узлы волю. Утверждая центр всего в своем личном мире, подставляя свой разум неразумной жизни и свою волю темной и слепой жизни, он наткнулся в этой жизни на что-то неподдающееся человеческому рациональному подчинению, на что-то мощное хаотическое, пожирающее и Наполеонов, и Раскольниковых. Их маленькая логика столкнулась с движением жизненным, управляемым от века царщей и стихийно обязательной логикой, их маленькая эвклидовская воля — с тайной и непреборимой Волей мира. Когда из теории Раскольников вышел в мир, при первом же шаге он пошатнулся, ибо, как оказалось, стоять ему не на чем. Камень его человеческого утверждения рассыпался в пыль. Он повис в пустоте, в злобном и бессильном недоумении, переживая миллионы раз повторяющуюся трагедию юношей, которые без труда исчерпывают всё свое головное теоретическое содержание и остаются «без точки», в сухой пустоте омертвелой и оскудевшей жизни.

Богаче было «Я емь» Ивана Карамазова.

Тут был свой тайный и богатый мир, куда притягивали великие соблазны, где можно было с каким-то сладострастием интеллектуального упоения провонать свои густо насыщенные редким и богатым содержанием дни. Дьявол не всегда сер и беден. Для резких одиночек при-

готовляет он тайные подвалы соблазнов и тончайших упоений. Иван Федорович — пьет напиток, от которого дух захватывает: гордыни и упоительного своеволия, упоительного чувствами риска, кощунства и вдохновения. Этот поэт-фантаст, создававший поэмы и легенды, обладал фантазией демонической, исступленной, выводящей за узкие границы серого дьявольского царства обыденности к той реальности, что смутно и волшебным образом расстилается за берегами буден. В мире силы, мощного движения и блеска призрачного — он, автор Легенды, был движущей Волей, был тем, кто руководит и повелевает в сверхчеловеческой громадности и в величии. Как Инквизитор — он вождь миллионных масс, и как Инквизитор, он с упоением кощунства и своеволия отрекся от Христа и пошел за «Ним» — за «мрачным и умным Духом пустыни». Мечтателя привлек дух призрачной ночной поэзии, этой поэзии отверженности, проклятья и в сладкое содрогание ужаса приводящего своеволия. Бунт подлинного Сатаны, пылающего Сатаны Мильтона с обожженными крыльями, привлек его, показался ему прекрасным и грандиозным. Восстать на Бога света, выйти с Ним на безумный неравный бой, ненавидеть Его и тайно пылать к Нему страстным влечением и быть пораженным Им и вечным, вечным быть врагом Его — какой страшный вихрь жизненного движения!.. И все слилось для Ивана Карамазова в одном решительном отвержении и бунте. Как мыслитель и моралист — он восстает на Бога света во имя крови и мук людей, во имя роковой несогласованности утверждений человеческих и божественных. Как поэт с фантазией демонической, направленной не к осуществлению холодных художественных форм, но рождающейся из жажды непосредственных могучих и таинственных переживаний, он также приковывается к облику, подобному громадной тени, что выросла в пустыне под звездами, среди камней, где сидел погруженный в свою думу Христос.

У этого фантаста, автора Легенды, было особое «Я», нерастворимое в небесном свете, не сходящее упорно и настойчиво со своего человеческого утверждения. Так как в границах земных буден он рисковал, как Раскольников, очутиться в пустоте и жалкой бессильной сумятице, то он и уходил далеко от обычного жизненного содержания в свои тайные подвалы фантазии, легенд и лихорадочных вымыслов. Его упорное, как камень твердое, «Я» прорывало для себя подземные ходы, и он раздвигал берега действительности, открывая новую, которая расстилалась колоссальными просторами и где действовали мощные одиночки, а миллионные массы молча двигались по их повелению. Не желая и не умея заключить союз с Богом, который грозил уничтожением его человеческого утверждению и хотел растворить «Я» в своем свете, он заключил союз с Дьяволом, который, так же как

человек, мыслит и числит орудием эвклидовского сознания и считается с миром, как он есть, в его разносущих и обманчивых данных.

Казалось, он твердо установился на своей точке. Его защитой были — и выстраданная жестокая ирония, и вся эвклидовская математика, говорившая в итоге: — не приемлю — Богу, и страстный пафос восстания на Него во имя человеческих мук, и, наконец, то подлинное высокой цены вдохновение, которое овладевало им, когда он выступал, как Сатана, на безумный бой, когда ему кружило голову дикое поэтическое высокомерие демонская гордыня. Над этим чёрт не раз язвительно подсмеивается, опошляя самое заветное в юношеской душе его, и недаром дух отрицания, — из-за той же самой муки самонедоверия и подчас желчного самопрезрения, — является Ивану Карамазову в виде пошлого истасканного франта. Он грезил и отдавался грезам и порой желчно над собой смеялся. Мир, с его котлом кипящей жизни, с его судорогами и криками, разворотом отца и белыми стенами монастыря, — представлялся ему сценой, где можно было не унижать себя до исступления, а холодно пройти, ограничившись «кривой усмешкой» на всё. И он «криво усмехается» на позор и грязь отца, на муки брата Дмитрия и в особенности на белые стены тихого монастыря, на мудрость и кротость жизни в нем. Как верный служитель мрачного и страдающего Сатаны, пред которым он поэтически преклоняется, он стоит в келье старца, как во враждебном стане, и сохраняет холодное спокойствие.

И на тихий зов Христова сияния он отвечает своим твердым: «Я есмь». «Я есмь» — на твердом базисе своего человеческого утверждения, своего неустранимого, самоцельного, собой питающегося, собой определяющегося «Я». Собой живу, на себе утверждаюсь, из себя рождаю мой мир, мое движение жизненное, сам его расширяю и наполняю, в каждую минуту бытия своего ощущаю и знаю твердое ядро мое, неизменный центр — мое «Я». Им я отвечаю Твоему призыву, оно отрицает Тебя в силу того, что оно само — всё, оно мой бог и мой закон. Посему всю безграничность движений, дерзаний, опытов, кощунств открыл я себе в этой жизни, всё мне позволено, потому что я сам отвечаю за всё перед самим собой.

Умный же Дух, тот, кто восстал на Тебя, он обогащает эту серую жизнь своей дерзкой волей, своей вечной тоской и игрой своей гигантской фантазии. Видеть и знать, созерцать кощунство и дисгармонию — порою весело. Я тот, кто со стороны смотрит на Твой мир, будучи утвержденным на себе самом. И если даже сам я жалок, смешон и наивен, и мой дух — только лакей, мелкий чёрт, переодетый лакеем и спрятавший «свой длинный, гладкий, как у датской собаки, хвост», то всё же — где Твоя истина?.. Не вижу ее и не принимаю.

Только в двух случаях Иван Карамазов пасует: перед минутами горького самопрезренья и перед взглядом глаз Алеши Карамазова.

Здесь он теряет свою кривую усмешку и наполняется тревогой очень смутных сомнений. И в один из решительных моментов — после диалога с лакеем-чёртом, после этих минут, когда он обливает себя желчью и презрением, является Алеша и побеждает силой своей светлой — чёрта и кошмар. Иван настойчиво подчеркивает, что чёрт испугался Алеши, и чувствуется здесь подчеркивание самого автора.

Ни в праведнике, ни в руководителе не нуждается Дмитрий Карамазов. Мытарь и грешник, он чувствует, что он заблудший сын Отца и что «Пастырь добрый» оставит на время стадо и пойдет за отбившейся овечкой и, если она больна, устала, на руках принесет ее к стаду. Ни Мармеладов, ни Дмитрий Карамазов не стыдятся открыть свой позор, ибо исповедуют золотой свет Христовой любви и милости ко всему живому. Только Свидригайлов прячет в тень и мрак свое больное лицо, веруя в свою обреченность, — он с тоской уйдет от Христа, и не хватит у него сил, чтобы протянуть руку и дотронуться до Его ризы. Между тем как Мармеладов пророчит осенение всех их — пьяных и грязных — белыми ризами Христа, а Дмитрий Карамазов восторженно восклицает: «...в позоре начинаю гимн... Пусть я проклят, пусть я низок и подл, но пусть и я целую край той ризы, в которую облакается Бог мой!»...

Именно ему, Дмитрию Карамазову, принадлежит вдохновенная формулировка мистического утверждения. Этот человек земли, страстно преданный крови и плоти, пьяный своими безумными вожделениями, в хаосе плотском прозревает тайные пути к божескому первоисточнику и в самом диком вихре и угаре твердо и фанатически утверждает на этом сознании. — «В пытке корчусь, но есмь»... Исповедую свое пребывание в вечном, бытие своего «я» в Боге, утверждаюсь на огнеупорном, неземном внутри меня и, сознавая это, говорю свое: «Я есмь»...

Дмитрию не нужно, как Ивану, отвлекаться в призрачную действительность фантазий, потому что Дмитрий до страсти любит всё реально действительное, всё земное, его в содрогание приводит бурная радость от чувства земли и человеческой жизни. Сложна, мистична, красочна и хаотична для него вся жизнь, с ее любовью, красотой, грязью, и в упоении вертится он в ее хаосе. При всей своей слепой и богатой чувственности, а может быть, и в силу ее, он обладает мистической созерцательностью, и какой-нибудь серый забор окраинной улицы для него так же — в общей композиции божественного рисунка, — как и роковые кровавые события жизни. — На всех путях руководительные таинственные гении сторожат людей, они просыпаются вместе

с людьми, бродят по их улицам, входят в их дома и трактиры, и, как голубое небо и Божий воздух, осеняют грешную жизнь людей.

И жизнь мистична вся — до последней пылинки. И в злом кипении ее, в путях крови, мести и грешной любви, во всем человеческом, презираемом Иваном, Дмитрию чуются тайные предопределения и общая для всего живого тайная Воля. В стихах Шиллера он находит волнующие его ноты мистической концепции, и свою исповедь обо всем ярко-человеческом он начинает с этих стихов. Он не сомневается в страшной и чудесной ответственности человека перед кем-то, ждет всемирного мига и никогда не упускает в своих размышлениях связи земной сферы жизни с окончательной, небесной. Отсюда его фанатизм и апелляция всегда, во всех случаях к внутреннему. На следствии, в мертвых диалогах с властями, он презирает все внешне-фактическое и обращает внимание на факты внутренней чистой достоверности. Так поступают сектанты, пуритане, мистики. Недаром бывали у него божественные минуты, вроде той, когда он, побеждая себя, вручил с низким поклоном деньги Катерине Ивановне и открыл ей дверь и целовал в слепом восторге лезвие своей сабли.

Глубоко в тайниках его чувственно-мистического жизнеощущения лежит его «Я есмь», живое и страстное. Созданный, как и все на земле, в двуединстве, он слепо и безумно отдается началу земному, предается Содому исступленно, изживает землю горячо, со всей силой кипения своего, но, за всем этим, горит в нем огонь перед иным идеалом неугасимо и тайно. И он знает этот свет и поет ему «Осанну»...

Весь — человек, с головы до ног, не отшельник-фантаст, как брат Иван, абстрактный и лихорадочно грезящий, но человек горячо и страстно живущий, он проходит свой знойный день жизни, покрытый потом, кровью и пылью, со следами всего человеческого, и таким же пыльным, окровавленным и усталым подходит к вечерним садам Бога, вдыхает в их тени свежую прохладу и предстоит мудрому взгляду Создателя. Бог отметил его страстную и правдивую натуру, осилившую весь хаос, все противоречия и сохранявшую всегда, в самых безумных полосах жизни, наивную беззаветность и детскость души. Он не знает спора с Богом, наивной диалектики богоборства, он не резонер и не созерцатель огня и хаоса, он тот, кто сам горит в огне, кто сам безумно кружится в хаосе, кто обречен скорби, любви, преступлениям и детской жажде Бога. В этом секрет необъяснимого обаяния, странной, но непреодолимой прелести облика Дмитрия Карамазова, которого художник Достоевский сделал столь же живым, каким создает человека сам Господь-Бог.

Вырвавшаяся из силы и остроты самой жизни «Осанна» Дмитрия звучит стихийно и мощно, как гром. Он — истинный апостол правды Создателя, ибо несет ее в преисподнюю и славословит ее в бездне.

<...>

ГЛАВА III

3

Мистика мира

Трудно жить среди трезвых сознаний. Тревожно ищет художник в глазах людей отблеска «полного» вдохновенного сознания, светлой глубины, радующей как синее небо, волнующей. Встречая же деловую сущь в глазах, тоскует и задыхается. И, спасаясь, в противовес сухой скудости сознания взрослых людей, обращается к притягивающему его сознание свежему и легкому — сознанию детей. Почти все лирики и мистики, начиная от «галилейского Орфея»¹, заключали союз с детьми против мертвой глухоты и слепоты взрослых. Орган восприятия детской души — тонок, нежно впечатлителен и зыбок, ребячье сознание волнуется от тихого прикосновения.

Бродя по таинственному миру детской стопой, еще недавно вышедшие из великого мрака, из тайного Ничто, содержащего в себе потенциальность миллионов жизней, дети всецело открыты всему в мире, и сознание их непрерывно звучит от его прикосновений. Они повсюду задевают в воздухе струны мистических откровений, колеблющие их души вещанием тайного, повсюду касаются бесчисленных нитей, соединяющих миры иные с нашим. Дети «видят и слышат», их внимательность не притуплена, но свежа и остра. Они широко открывают глаза на небо, на свет, на звезды, и тут же открывается неведомому, что-то говорящему, их душа, давая вписывать на себе письма тихой правды, произвольно принимаемых откровений. «Если не будете как дети, не войдете в Царствие небесное». Если не сохраните этот дар тайно-постижения, это внимание души к музыке мира, эту легкую восприимчивость ее к веяниям Бога, к шелесту риз Его, — будете слепыми, глухими, мертвыми, потерявшими жизнь.

В мировой литературе — первый указавший на мудрость детей — был светлый пророк Галилеи. По стопам Его идут художники и мистики. Они утверждают живую мудрость детей. — Дети знают, они — во всем, они своей зыбкой, трепещущей, жадной и еще свободной душой — в тайном течении вселенских вод, в разливе их, и слышат все всплески, гулы, голоса и откровения. — «Дети, пока дети, до семи лет, — например пишет Достоевский, — *страшно отстоят от людей: совсем будто другое существо и другой породы*».

Чтобы открыть мистику мира — нужно вернуться к детству, войти в сумрак изумительных ощущений, в которых что-то впитывала пробужденная душа. Так Зосима, оторвавшись от мертвой полосы жизни

и придя к Христу, возвращается к детским состояниям души и возрождает ее наития, ее изумления, ее содрогания в сумраке. Он вспоминает минуты свои во время служения в церкви, наплыв каких-то сил, уносящих грезящую душу, погружающих в богооткровенный сон и так согласных с дымом ладана, блеском риз, и косыми лучами солнца в узком окне высокого купола. Как будто сейчас разорвались какие-то покровы — и вот Сущее мира глядит в глаза пораженному ребенку, который смутно знал в душе своей, что *это* есть и будет.

Совершенно такие же созерцания и у тех, кто, выросши, не оторвался от тайны, но вдохновлен ею. Алеша, Зосима, князь Мышкин, Мария Лебядкина, Макар Иванович — они живут своей совершенно детской душой и именно детскостью своей души касаются неведомого. Откровения им звучат в природе, в солнечном дне, в животных и травах. Звон христианского колокола звучит им из недр девственной жизни природы, ибо она изначала — христианка. И солнечный день весь проникнут благостью и тишиной Христа и сияет радостью о Христе. «Каждый листик устремляется к Слову»... Во всем разлито вдохновение божественной силы. Потому-то когда потонувшего в человеческом пробуждает мысль о гибели, о расставании с миром, он в эти минуты тоски душевной вдруг чувствует невыразимую прелесть мира, которой раньше не знал. Тогда-то просыпается боль о мире и жизни в их глубине и тайной силе. «Что если бы не умирать!.. Воротить жизнь!.. Какая бесконечность! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил бы, ничего бы не потерял»... дабы жить «в полноте каждой минуты своей жизни»... Душа тоскует не о пустых переживаниях дней, но о красоте таинственной и чудной их содержания, потому что коснулось души это разлитое в мире вдохновение, и она затрепетала от тоски и жажды и высшего призыва...

Восторженное состояние души перед припадком эпилепсии у князя Мышкина дарит ему высший экстаз постижения мира в его целом, — во власти над ним нездешней мудрости. Его постигает страстное чувство мира, он ощущает невыразимо его красоту, согласие всего в нем — с силой непостижимой. И вот напрягающейся и смятенной души его касается верховная истина о мире, душа вырастает и впитывает ее, принимает в себя... «Всё разрешилось в какое-то высшее спокойствие, полное ясной радости, разума и окончательной причины. Неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры и восторженного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни...

С открытыми глазами и слухом на тайное бредет по дороге жизни странник Макар Иванович. «Хорошо на свете, милый, — говорит он Подростку, — а что тайна, то оно тем и лучше, страшно оно сердцу и дивно, и страх сей к веселию сердца»... Среди земного, обычного — зияет провал в какую-то страшную глубину, и из-за завесы обычности,

в полной тишине и безмолвии слышен некий голос тайный и призывы куда-то.

Вне мистического исповедания Христа, просто — в открытых пустынях природы: гор и полей, в знойные полдни бывают такие часы великого безмолвия, которое угнетает и томит страхом человека. Древние греки нашли для этого чувства молчания природы, в котором разливается жутко-ощутительное влияние неведомой силы, название Панического ужаса, ибо скопляющееся жуткое чувство неведомого разрешается взрывом неодолимого страха, когда из глубины безмолвия вдруг раздается Голос, призыв нездешнего, когда смертным глазам является — бог. Мистическое мироощущение старо, как сам мир, обусловленный в бытии своим тайным началом, и сердце дикаря так же содрогалось постижением неведомого, принимая познание не от разума и не от культуры, но от касания темной души к этому неведомому, подобно детям и экстатикам.

Князь Мышкин вспоминает свое ощущение в горах, в солнечный день: «небо голубое, тишина страшная, вот тут-то все бывало и зовет куда-то... зайти за линию, где небо с землею встречается»...

Реальность таинственна, реальность непостижима, и всюду, всюду — радиусы к вдохновенно-божескому центру, и нет обыденного, в чем не зияла бы пропасть в непостижимое. Художники, рисующие, так сказать, только верхний пласт реального — внешне-реальное, — лгут в силу своей слепоты. Истинный художник, отражая реальность, отражает мистику мира. По поводу этих-то лгущих на мир реалистов писал Достоевский: «Ах, друг мой, совершенно другие я имею понятия о действительности и реальности, чем наши реалисты и критики. Мой идеализм реальнее ихнего. Их реализм сотней доли реальных случившихся фактов не объяснит. А мы нашим идеализмом пророчим факты» (Письмо к А. Н. Майкову).

4

О счастье и земном рае

«Благая весть» — есть весть о радости, ее излучают из глаз все святые, все тихие отшельники, все принявшие в душу Христа. Душа их улыбается миру, и нет ничего удивительного в том, что воля их, столь всецело утвержденная на Христовом спокойствии, не возбуждала злобы и страха зверей, доверчиво подходивших к порогу их жилищ и к руке их.

Радость о жизни — наполняет лишь высшие сознания, не каждый владеет ею, не в каждой душе улыбается просветленно. Но те, кто бедны ею и живут в мире глухо и скудно, услышав первые звуки вдохновенной музыки, чувствуют томительное и бурное окрыление души,

и непонятные неведомые желания волнуют их. Так, когда Иисус бродил по Галилее и взывал к душам, суровые рыбаки и бедные мытари прислушивались к Его голосу и чувствовали этот сладостный призыв, влечение к тому высшему, что, как оказывается, живет и в человеческой жизни. И бросили сети, и пошли за Ним.

Святого Бернарда в тихих сумерках постигло видение Младенца и Матери, ослепившее его душу. Святой Франциск подымает к небу свое лицо, и мир, принятый им во Христе, звучит в его душе хвалой, цветами песен. Тихие подвижники русских лесов и полей — Нил Сорский², Сергей Радонежский, Тихон Задонский — были такими же мистиками-пантеистами, и для них «каждый листок устремлялся к Слову»... Зосима говорит Хохлаковой: «Для счастья созданы люди, и кто вполне счастлив, тот прямо удостоен сказать себе: я выполнил завет Божий на сей земле. Все праведные, все святые, все мученики были счастливы»...

Все радости земные освящены, только будьте чутки и не оскверняйте жизнь. Достоевский в «Братьях Карамазовых» благословил и молодое счастье любви, поцелуй девичьих и юношеских губ, жизнь молодую и чистую вдвоем, любовь и жажду жить вдвоем. Весь диалог Алеши и Лизы Хохлаковой в романе исполнен трепета молодых душ и молодых тел, слышится голос юного счастья, страстное и нежное пение свежих просыпающихся чувств. — «Я на днях выйду из монастыря, — говорит Алеша, — выйдя в свет надо жениться, это-то я знаю... Кого ж я лучше вас возьму?»...*

Художником указано, что земля лежит не вне путей Христовых, путей спасения, наоборот, через нее лежит этот путь, и все содержание жизни на земле, принятое «в Дьяволе», во зле, может быть принято и во Христе. Земля — одна из церквей Бога, святое место, дышащее, как и весь мир, благоговением к творческой силе. — «Христос приходил, — говорит Паисий, — установить церковь на земле. В царство неба приходят не иначе, как через эту Его церковь, которая основана и установлена на земле. Отсюда мы идем в вечность».

Церковник Паисий не во всем согласен с Зосимой, по которому земля есть церковь с самого первого момента ее бытия, а не по установлению Христа. Славословие мира каждого вдохновенного художника есть признание скрытых божественных сил в мировом творчестве. Хвала миру христианина св. Франциска по существу едина со свидетельством вдохновенным о мире язычника Вергилия или Платона. С первого момента жизни перед всем живущим открыто в большей или меньшей полноте сознания — всё богатство мира и дали высших

* Этот мотив, но с густой сенсуалистической окраской, использован Реми де-Гурмоном³ в его романе «Ночь в Люксембурге».

в нем таинственных осуществлений. — «Жизнь есть рай, и все мы — в раю, да не хотим знать того, а если бы захотели, завтра же и стал бы на всем свете рай».

Стоя перед самой истиной, но не принимая ее, Кириллов открыл в мучительных исканиях своих ту же истину: человек только не знает, что он хорош, а узнает — и будет воистину хорош.

Это одна из заветных мыслей Достоевского: человек в глубине своей — не то, что он есть во вне — <в> своей жизни, в сумятице ее кошмарной, — это властитель в одеждах нищего, жрец Господа, ослепший временно, светильник, занавешенный тканью. Откиньте покрывало — и вот свет. Судьба на земле людей — совсем не та, которую знают они, она — странна, таинственна, ибо людей ждет и подстерегает — чудо: новая действительность и новая жизнь. В сущности человека — есть потенция перерождения в новое высшее существо. Однажды, глядя на участников бала, Достоевский думал: «Что если бы каждый из них узнал весь секрет?.. Что в них есть всё: прямодушие, искренность, веселье, ум, что они умнее Вольтера, чувствительнее Руссо, а они — прекраснее и обольстительнее Джульетты и Беатриче... Знаете ли вы, что каждый из вас, если бы только захотел, то сейчас бы мог всех осчастливить в этой зале и всех увлечь за собой? И эта мощь есть в каждом из вас, но до того глубоко запрятанная, что давно уж кажется невероятной» («Дневн<ик> пис<ателя>»).

Если Ницше мог найти свою идею сверхчеловека у Достоевского, то Метерлинк у этого же художника мог открыть раннее формулированную идею его о духовных потенциях человека.

Наконец, в сне Алеши автор снова подтверждает устами старца святого истину о радости вечной в мире, — на пире Зосима говорит Алеше: «Веселимся, пьем вино новое, *вино радости вечной, великой*»...

Быть может все содержание истины Христа, столь согласной с истинами всех вдохновенных людей, заключается в вести Его о мирерадости, о мире в солнце, о красоте... Видимый мир есть свидетельство о вдохновении Бога, и тем самым он есть великая весть о красоте. — «Знаете ли, я не понимаю, — говорит князь Мышкин перед минутой болезненного экстаза, в предчувствии его, — я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его!»...

Вся истина дана в мире и с миром. Всё дано, чтобы превратить землю в рай. — «И одного дня довольно человеку, — говорит умирающий отрок — брат Зосимы, — чтобы все счастье узнать»...

<...>

